



17. Sarton G. Notes on the history of anagrammatism. Isis. 1936. Vol. 26, №1. P. 132–138.

18. Stausberg M. Zoroaster im 18. Jahrhundert: zwischen Aufklärung und Esoterik // Aufklärung und Esoterik / hrsg. von M. Neugebauer-Wölk. Hamburg, 1999. S. 117–139.

#### Об авторе

Илья Олегович Дементьев — канд. ист. наук, доц., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград.

E-mail: IDementev@kantiana.ru

#### About the author

Dr Ilya Dementev, associate professor, I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.

E-mail: IDementev@kantiana.ru

45

УДК 821.112.2-1

**В. Х. Гильманов, И. Д. Коцев**

### ГЕРМЕНЕВТИКА ВИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ИОАННЕСА БОБРОВСКОГО

*К 100-летию со дня рождения поэта*

*Рассматривается поэтическая судьба выдающегося немецкого поэта и прозаика И. Бобровского. Анализируется его поэтология в синтезе антиномичной семантики и метрики. Акцентируется экзистенция вины в творчестве Бобровского, обостренная духом острого эсхатологического персонализма его христианского видения человека. Делается вывод о сущностном равенстве поэтического языка и бытия/небытия в понимании Бобровского.*

*The poetic destiny of the outstanding German poet and novelist Johannes Bobrowski is being considered. His poetology in the most complicated synthesis of antinomic semantics and metrics is being analyzed. The existence of guilt with its exacerbated spirit of his Christian humanity's eschatological personalism in creative work of Bobrowski is being emphasized. The conclusion about the essential equality of his poetic language and being/nothingness in his understanding is being made.*

**Ключевые слова:** вина, «герменевтическая бритва», память, сарматский миф, честность перед Богом, язык.

**Key words:** guilt, «hermeneutical razor», memory, sarmatism, honest to God, language.

В поэтической истории XX в., отмеченного почти апокалиптической динамикой военно-политических и антропологических катастроф, многие поэты были вынуждены стать «внутренними эмигрантами». Будто подтверждая печальный диагноз знаменитого еврейского бого-



слова Мартина Бубера — «Как можно жить в мире, в котором возможен Освенцим?» — многие из них попытались укрыться от «банальности зла» (эти слова Ханны Аренд о нацистском палаче Эйхмане стали символом XX в.) в своих художественных убежищах. Одним из таких поэтических эмигрантов во времена национал-социализма в Германии был Иоганнес Бобровский, родившийся 9 апреля 1917 г. в Тильзите (сейчас г. Советск в Калининградской области). После окончания гимназии в Кёнигсберге и переезда в Берлин в 1938 г. Бобровский сблизился с движением христианского сопротивления фашизму и стал одним из авторов журнала, издававшегося Паулем Альвердесом в Мюнхене с 1939 по 1944 г., с примечательным названием «Das Innere Reich» — то ли «Внутренние миры», то ли «Царство внутреннего света». Идеиная направленность этого издания кодирована наивной верой в гуманистическую возможность противостоять нацистскому перфекционизму, превращению человека в технологически совершенную шестеренку в мегамашине убийства. До и даже во время войны Бобровский также все еще верит, что можно укрыться в потаенной поэтической крепости, защищающей от острого осознания своего неизбежного соучастия во всем происходящем. Вскоре эта вера в возможность внутренней эмиграции в собственную невиновность сменится острым переживанием вины за все происходящее, и даже происходившее, в истории. Эта *умо- и сердце*перемена совершилась под влиянием целого ряда факторов, отраженных в творчестве Бобровского. Среди них и опыт войны на Восточном фронте, куда он был отправлен в 1941 г., и опыт плена, которым закончилась для него война, и опыт новой Восточной Германии, куда он вернулся после плена, став одним из ведущих поэтов ГДР и послевоенной Европы.

Феноменология личности и творчества Бобровского после этой перемены отмечена почти паралогическим сочетанием экзистенциально переживания вины на грани апокалиптического отчаяния и поиска кода спасения от ада истории, ставшего судьбой XX в. Он предпринимает уникальную попытку противостоять «герменевтической бритве», ампутирующей, по его убеждению, всякую когнитивную и психоэмоциональную способность современного мира понимать происходящее, в том числе на основе педагогики истории. В отличие от Х.-Г. Гадамера, развивающего в своем трактате «Истина и метод» [6] трансцендентальные основы философской герменевтики в надежде на «здравый смысл» и возможность правильного понимания мира, Бобровский склоняется к тому, что эта «бритва» грозит отсечь у человечества все три герменевтические способности, на которые рассчитывает Гадамер, а именно — понимать искусство, историю и сущность языковой компетенции, каковая, согласно трактату, является основной силой, формирующей тот или иной принцип реальности. При этом действие «герменевтической бритвы» Бобровский ощущает прежде всего в себе самом.

В этом поэт близок тому, кто стал его главным идейным вдохновителем. Это кёнигсбергский мыслитель XVIII в. И. Г. Гаман, оставшийся неслышанным в истории германского духа, хотя даже Гёте назвал его «самой светлой головой» своего времени. А это, напомним, было время



немецкого Просвещения, отмеченное такими гениями, как Кант, Гердер, Лессинг, Виланд, Мендельсон и многие другие. Гаман, будучи другом Канта, развивает в отличие от него не философию автономного разума, а своеобразную христоцентрическую «теологию чувства», в основе которой — тайна Любви. Именно в Любви Бог, согласно Гаману, нисходит к человеку в слове природы, истории и Писания. И поэтому, считает Гаман, «мы все способны стать пророками. Все явления природы суть сны, лики, загадки, имеющие свое значение, свой тайный смысл. Книги природы и истории суть не что иное, как шифры, сокрытые знаки, для которых необходим ключ, излагаемый Священным Писанием и являющийся целью его вдохновенного воздействия» [16, Bd. 1, S. 308].

Все творчество Бобровского — уникальная попытка расшифровать эти таинственные знаки природы и истории и донести их смысл, прежде всего, до немцев, литовцев, поляков, евреев, русских и других народов, связанных общей судьбой в едином географическом пространстве, которое он в своем поэтическом мире именуется Сарматией. Так античные авторы называли край между Вислой и Неманом. В творчестве Бобровского Сарматия предстает, однако, не просто как географическое пространство, но, скорее, как локус сгущенной исторической вины народов по отношению друг к другу.

В сложнейшей поэтической стилистике своих «сарматских» произведений конца 1950-х — начала 1960-х гг. Бобровский пытается воскресить способность Памяти и Любви [9], но довольно скоро понимает, что его надежда рушится. Об этом свидетельствуют стихи, возникшие уже вскоре после поэтического цикла «Сарматское время» («Sarmatische Zeit», 1961). Само название последующего сборника «Тенеречь» («Schattenland Ströme», 1963–1964) — знак сумерек в «сарматских» надеждах поэта. Лирическое настроение этого сборника пронизано ощущением утраты способности к сбережению «кодов вечности», предназначенных для того, чтобы «вечно называть: / дерево, птицу в полете... когда темень / над лесами густа» [3, с. 116]. «Герменевтическая бритва» беспощадна, и сам поэт признается в том, что он уже не слышит и не понимает голоса вечности, звучащего в Тенеречьи его родины.

Но и сам Бобровский для современного читателя — сложная герменевтическая задача. И в этой связи в контексте 100-летия Бобровского знаменательна попытка поэта и переводчика Сергея Морейно решить эту задачу на уровне когнитивной и логосной пропорциональности [3, с. 161–189]. С точки зрения научной теории перевода перевод Бобровского с его родного языка невозможен, подобно тому, как невозможен перевод Пушкина, поскольку неизбежно возникает национально-языковая и душевно-сердечная асимметрия культурных логосов с их метаисторической сутью. Решить уравнение логосной эквивалентности — задача сложнейшая, и чтобы услышать и понять Бобровского, необходимо учесть три фактора — его христианство, персонализм и экзистенциализм. Христианское мировоззрение Бобровского ближе всего к тому направлению теологии, которое во времена национал-социализма воплотилось в движении Церкви исповедников (die Bekennende Kirche), отказавшейся от сотрудничества с режимом Гитлера. Одним из самых



известных ее деятелей был Дитрих Бонхёффер, автор книги «Сопротивление и покорность» [4], казненный нацистами за месяц до окончания войны. Суть этого теологического направления сводима к требованию максимальной честности перед Богом. Персонализм Бобровского ближе всего к христианскому персонализму, достигающему в своей честности перед Богом того предела вины, который отразил в своей исповеди Гаман: «...я дольше уже не мог скрывать от Бога, что я был братоубийца Его кровного Сына...» (цит. по: [7, с. 14]). И третий фактор для правильного понимания Бобровского — это экзистенциализм, близкий по духу к Кьеркегору и отчасти к Хайдеггеру. Суть его сводима к убеждению Кьеркегора о том, что истину нельзя знать: в истине можно только быть [12].

Бобровский, пронзенный не только исторической виной своего народа, но и метафизической виной перед мирозданием, опускается на колени в покаянном смирении пред Богом и Сарматией. В предельной экзистенциальной честности он прозревает свою онтологическую знаковую как модального оператора между жизнью и смертью.

Знаки,  
крест, рыба,  
пещерных стен исчерченный камень.  
Мужчины друг за другом  
спускаются в землю.  
Она скруглится над ними,  
травы, зелены, насквозь  
пробьет кусты.  
В груди моей  
вздыхает поток,  
голос из песков:  
откройся,  
а то мне не всплыть  
твои мертвые  
текут во мне

Узнавание [3, с. 126]

Однако Бобровский все же верит, что *узнавание* дает надежду. Здесь Бобровский оказывается педагогичным в духе той христианской честности, которая признает, что мир смертельно болен, но все же излечим! И опыт Сарматии — это антиномия двух педагогик: педагогики смерти и педагогики жизни.

Педагогика смерти отражена в новелле Бобровского «Пророк» [2], последний абзац которой начинается со слов: «Уже вышел последний срок — для всех». Эти слова имеют навязчивую интертекстуальную связь с «Откровением от Иоанна Богослова»: «И Ангел... поднял руку свою к небу и клялся... что времени уже не будет» (Откровение: 10, 5–7). Все это придает новелле, посвященной апокалиптической символике погибшего Кёнигсберга, особый эсхатологический статус, раскаляя кёнигсбергское предостережение до градуса парадигмального предостережения для всего мира (см. [8]). В этой новелле Бобровского домини-



рует безнадежность: Кёнигсберг, ослепленный цивилизационной гордыней, не замечает наступающей нацистской демонизации. Она втягивает его в слепое безумие плясок смерти. Тот же мотив мы найдем и в романе Ю. Иванова «Танцы в крематории» [10]. Название книги навеяно фресками Отто Эвелля в разрушенной крематории Кёнигсберга, которые 16-летний Юрий Иванов видел собственными глазами после взятия города войсками Красной армии. Опыт погибшего Кёнигсберга переживается Бобровским и Юрием Ивановым в примечательном сближении с символической архитектуроникой известных топосов смерти — Вавилона, Ниневии, Рима и других. Аналогичный опыт отражен и в трех поэтических шедеврах И. Бродского, написанных после посещения Балтийска и Калининграда в 1960-е гг. Одно из них озаглавлено по-немецки «Einem alten Architekten in Rom» («Старому архитектору в Риме»), и в этом произведении поэт обращается не только к творцу «Архитектоники чистого разума», то есть к Канту, но и к каждому из нас:

Но если ты не призрак, если ты  
живая плоть, возьми урок с природы  
и, срисовав такой пейзаж в листы,  
своей душе ищи другой структуры [13, с. 377]

В этом «Ищи!» есть отклик и того, что, кажется, почти нашел Бобровский, когда в октябре 1964 г. за три месяца до публикации «Пророка» упоминает в письме к своему другу Манфреду П. Хайну: «Мне кажется, что все бывшее до сих пор — это только преддверие: *собственно значимое* (das Eigentliche), что я должен сказать, лишь только на подходе» [19]<sup>1</sup>. Это «собственно значимое» проникнуто едва уловимым, но все же духом надежды, что синхронизировано с письмом Бобровского к Макс Хельцеру в январе 1962 г.: «...живя в выжженной пустыне, сохранить поистине эсхатологическую надежду, которая наполняет меня покоем и чувством уверенности...» [19].

Что же это за «собственно значимое», о чем думал Бобровский? Есть ли в этом то, что обусловлено его последней честностью перед Богом, которой проникнута его педагогика жизни и смерти? Как соотносится с этой честностью его надежда на мифопоэтическую инициацию в сарматских стихах, в которых поэт пытается пробиться к той антропологической глубине народов, где еще живут имманентные энергии, необходимые для примирения и выхода из динамики отчуждения. «Сарматский период» Бобровского проникнут всеми известными гуманистическими проектами, которые в современной ситуации post-истории доказали свою беспомощность: это проект Памяти, проект «пророческой действительности» и другие, основанные на антропологическом принципе достаточного основания.

Именно сарматский миф Бобровского вызвал горькую драму отчуждения между ним и талантливым поэтом Паулем Целаном, убежденным в том, что принцип достаточного основания давно разрушен. В этом он

<sup>1</sup> Курсив наш. — В.Г., И.К.



близок к умонастроению, выраженному немецким философом Т. В. Адорно: «Разве можно писать стихи после Освенцима?» (цит. по: [1, с. 388]). Автор стихотворного цикла «Фуга смерти», Целан поставил «сарматский проект» Бобровского под сомнение в свете необходимой честности перед Богом. В чем же суть этой честности? Она безжалостна и горька, по Целану: мы все ошиблись и виновны как перед Богом, так и друг перед другом, но более всего виновен Я! Об этой вине каждого перед всеми и всех перед каждым по причине утраты нашей эссенциальной сущности думали Достоевский, Т. Манн, философы Левинас и Ханс Йонас и другие.

Все они и Целан близки в этом к взглядам главного учителя Бобровского, то есть к Гаману, но весь вопрос в том, как жить, осознавая это? Целан покончил с собой. Левинас попытался создать новую этику. Йонас считал, что «фатализм — это смертный грех» [18].

Не является ли упомянутое выше «собственно значимое» Бобровского именно тем, что он хотел противопоставить «фуге смерти»? Поразительная метрика и стилистика произведений Бобровского позволяет предположить, что он приближается к самой главной тайне, открытой уже в Притчах Ветхого Завета: «Смерть и жизнь — во власти языка» (Притчи 18: 22). В современной философии к актуализации этой тайны онтологической силы языка приблизились Хайдеггер, Фуко, Р. Барт и другие, но намного раньше — большинство русских философов Серебряного века. «Фуга смерти» задана семиотической фатальностью, в которую после «смерти Бога» (Ницше) попала западная культура. Бобровский начинает осознавать это, стремясь вырваться в своей поэтической уникальности из глобального языка смерти, ставшего знаковой тюрьмой современной цивилизации. Целан не верит в возможность этого, считая, что язык утратил всякую коммуникативную энергию жизни и что мы обречены на перманентный символический обмен со смертью: «...слово — ты знаешь — / мертвое тело...» [15, Vd. 1, S. 125].

В одном из самых загадочных стихотворений Бобровского «В потоке» (Im Strom) поэт приближается к пределу опасного равенства «Время = Язык = Смерть». Но в отличие от Целана он не переступает этого предела, создавая поэтическую ситуацию Сна. Смерть — это максимальное исчезновение, завершение математики вычитания из сложноустроенной иерархии человеческих способностей. Смерть начинается с забывания, связанного одновременно с утратой онтологической способности культуры сохранять «дом бытия» прежде всего в языке, поскольку бытие и есть язык. «Язык — это среда, где я и мир выражаются в изначальной взаимопринадлежности» [6, с. 520]. Забывание ведет к забвению, превращающему жизнь в сон, но еще не в окончательную смерть, так как не случилось последнего исчезновения, в том числе жизнеспасающего слова поэта. Подобно Бродскому, ставящемуся «на пустое место слово» [5, с. 120], Бобровский тоже ищет поэтического возращения против окончательного перехода сна жизни в смерть, хотя «мы пришли заснуть» [3, с. 120].

«В потоке» — поразительное произведение, получившее две престижные литературные премии, в том числе знаменитой «Группы 47», в



которую входили лауреаты Нобелевской премии Генрих Бёлль и Гюнтер Грасс. Его загадочная педагогика скрыта в логико-поэтической дизъюнкции, к которой подошел мир «или — или»: или переход сна современного мира в окончательный сон смерти в «тайне беззакония» или в пробуждении нас тем, кто кодируется поэтом в антиномии «Никто — Кто-то». Эту антиномию создает уже Гаман, который в своих сочинениях шифровал под «Никто» не только самого себя, ставшего непонятым даже для Гёте, но и Сократа и других авторов прошлого, не понятых массовой публикой. Саму публику Гаман также именуется «Никто», имея в виду, что она отчуждена от своей эссенциальной сущности. Именно эта отчужденность сделала ее слепой и глухой к самому главному, по Гаману, Никто, а именно — к Тому, Кто есть Логос жизни, но превратился для публики в Никто: это Христос. Бобровский обыгрывает антиномичную коннотацию «никтоиности» в скрытой надежде на то, что Бог или Поэт побудят мир выйти из ее гравитации, и тогда Никто станет истинным Кто, помогающим человеку обрести и свою истинную сущность.

Вот почему смысловое решение дизъюнкции «или — или» каждый берет под свою ответственность, беря одновременно ответственность за будущее. Здесь Бобровский в своем христианском персонализме оказывается близок моральному персонализму Канта: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» [11, т. 4, с. 195]. Примечательно то, что Сергей Морейно в своей уникальной работе по переводу поэтических текстов Бобровского невольно допускает ошибку, идя на поводу немецкой грамматики, где отрицательное местоимение *Niemand* = Никто маркирует двойное отрицание «Никто не...» Самые трудные и решающие в своей герменевтике строки стихотворения «В потоке» С. Морейно интерпретирует «в пользу» смерти:

...wir waren gekommen	...мы пришли
einzuschlafen, Niemand	заснуть, никто
umschritt das Lager, Niemand	не обошел привала, никто
löschte die Spiegel, Niemand	не гасил зеркал, никто
wird uns wecken...	не разбудит нас...
zu unserer Zeit [14, Bd. 1, S. 154].	к нашим дням [3, с. 120].

Но, как отмечено выше, Бобровский не столь просто решает вопрос о наших шансах, нашей свободе сделать правильный выбор между жизнью и смертью, поскольку, следом за Гаманом, связывает *Niemand* = Никто с Тем, Кто стал для большинства Никто, хотя несет в Себе всё, включая каждого из нас: это Христос как «Путь, Истина и Жизнь» (Ин 14: 6). В пользу данного понимания свидетельствует и то, что в тексте оригинала *Niemand* = Никто маркировано поэтом прописной буквой, хотя правила немецкой грамматики предполагают, что после запятой это местоимение пишется с маленькой буквой. В этой связи становится очевидным иное прочтение решающего акцента в тексте Бобровского и, соответственно, иной перевод на русский язык:



...мы пришли  
заснуть, Никто  
обошел место сна, Никто  
погасил зеркала, Никто  
разбудит нас  
к нашему времени.

В пользу надежды в этой поразительной поэзии, кодированной педагогикой Жизни вопреки Смерти, говорит и произведение Бобровского «Гаман», в котором он соглашается с убеждением своего духовного наставника, выраженным в пасхальном письме Гамана к известному философу Ф. Г. Якоби от 8 апреля 1787 г. Якоби умоляет Гамана помочь ему в достижении разумной определенности истины веры. Гаман реагирует словами Санчо Панса из романа «Дон Кихот» Сервантеса: «Вопреки всем головоломкам по этому поводу я чувствую себя, как Санчо Панса, и вместе с ним объявляю окончательно в успокоение моей души: Бог понимает меня!» [17, S. 491]. Бобровский близок ко всем, кто остро переживает свою вину и ответственность за ад истории, но на последней границе экзистенциального отчаяния верит, что Бог не «умер» (Ницше), что Он в мире и что Он всегда дает шанс каждому из нас перестать быть «никто». Что Бог понимает нас...

Мир. Под дождем я  
вижу, облако бело. Это я.  
По течению Прегеля  
лодка плывет. Из тумана. Мир –  
это Ад, но Бог и в нем не умер.  
Мир. Я вторю Санчо:  
Я говорю, как он: Бог понимает меня [3, с. 81].

#### Список литературы

1. Бёль Г. Франкфуртские чтения // Самосознание культуры и искусства XX века. Западная Европа и США. М. ; СПб., 2000. С. 379–444.
2. Бобровский И. Избранное. М., 1971.
3. Бобровский И. Тенеречье / пер. С. Морейно. Ижевск, 2016.
4. Бонхёффер Д. Сопrotивление и покорность. М., 1994.
5. Бродский И. Стихотворения. Таллин, 1991.
6. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
7. Гильманов В. Х. Герменевтика «образа» И. Г. Гамана и Просвещение. Калининград, 2003.
8. Гильманов В. Х. Топография пророчества в новелле И. Бобровского «Пророк» // Филологическая проблематика в системе высшего образования : сб. науч. тр. Самара, 2010. Вып. 4. С. 170–176.
9. Гильманов В. Х. Хронотериология кёнигсбергского текста // Слово.ру: Балтийский акцент. 2014. №4. С. 93–116.
10. Иванов Ю. Танцы в крематории. Десять эпизодов кёнигсбергской жизни. Калининград, 2006.
11. Кант И. Собр. соч. : в 8 т. М., 1994.
12. Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.





13. Бродский И. Сочинения : в 4 т. СПб., 1992. Т. 1.
14. Bobrowski J. Gesammelte Werke. Bde. 1–4. / hrsg. von E. Haufe. Stuttgart ; В., 1987.
15. Celan P. Gesammelte Werke in 5 Bänden. Frankfurt a/M, 1968.
16. Hamann J.G. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von J. Nadler. 6 Bde. Wien, 1949–1957.
17. Hamann J.G. Eine Auswahl aus seinen Schriften. Entkleidung und Verklärung. Wuppertal, 1987.
18. Jonas H. Fatalismus wäre Todsünde. Gespräche über Ethik und Mitverantwortung im dritten Jahrtausend. Münster, 2005.
19. Völker K. Nachwort zum «Mäusefest» // Johannes Bobrowski Gesellschaft : [сайт]. URL: <http://www.johannes-bobrowski-gesellschaft.de/jb/colloquium.html> (дата обращения: 01.06.2017).

#### Об авторах

Владимир Хамитович Гильманов — д-р филол. наук, проф., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград.  
E-mail: VGilmanov@kantiana.ru

Иван Демьянович Копцев — д-р филол. наук, проф., Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград.  
E-mail: IKoptsev@kantiana.ru

#### About the authors

Prof. Vladimir Gilmanov, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.  
E-mail: VGilmanov@kantiana.ru

Prof. Ivan Koptsev, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.  
E-mail: IKoptsev@kantiana.ru

УДК 821.162.1

*Л. А. Мальцев, Д. Б. Смирнова*

#### СПЕЦИФИКА ОБРАЗА «ПОЛЬСКОГО ГАМЛЕТА» В РОМАНАХ С. ЖЕРОМСКОГО «БЕЗДОМНЫЕ» И Я. ИВАШКЕВИЧА «КРАСНЫЕ ЦИТЫ»

*Раскрывается эволюция образа «польского Гамлета» в прозе первой половины XX в. Утверждается, что структура данного образа в романах С. Жеромского «Бездомные» и Я. Ивашкевича «Красные циты» определяется взаимодействием характерологических доминант Гамлета как агеитивно-аскетической личности и рефлектирующего «я». Анализ позволяет сделать вывод о том, что Жеромский в рамках поэтики реалистического романа последовательно воплощает гамлетовскую психологическую модель личности. Ивашкевич, наоборот, создает мистификационный эффект «игры в Гамлета», в то время как его герой относится к психологическому типу, отличному от героя Шекспира.*